

ЕЛЕНА АНДРУЩЕНКО

(Харков)

ПАВЕЛ I ГЛАЗАМИ Д. МЕРЕЖКОВСКОГО И В. ХОДАСЕВИЧА

Личность императора Павла I и обстоятельства его убийства долгое время оставались в России запретной темой. Лишь в 1901 г., когда в связи со столетием со дня смерти императора, частично, а в 1905 г. – окончательно, цензурные препоны были сняты, в печати стали появляться записки современников Павла I, участника его убийства, многочисленные исследования отечественных и зарубежных историков. Эти материалы стали предметом пристального внимания двух крупных русских художников – Д. Мережковского и В. Ходасевича, питали их творческую мысль, легли в основу произведений – драмы Мережковского *Павел Первый* и незавершенного жизнеописания Ходасевича.

Работа над драмой *Павел Первый* началась еще в 1904 г., когда Мережковский, „задумывая новую трилогию, занимался эпохой Екатерины – Павла – Александра I. Две последние его особенно интересовали”¹. Однако события 1905 года, в которых Мережковские приняли активное участие, а также переезд за границу, отрывали его от регулярной работы. Пьеса была завершена лишь осенью 1907 года и, как пишет А. Л. Соболев, „не понравилась ни Философому, ни Гиппиусу”². Тем не менее Мережковский планировал ее французское издание, добивался постановки „на какой-нибудь парижской сцене”³, „в Одеоне или у Коплена”⁴, ее отрывки читались у „молодого мецената

¹ З. Гиппиус, *Дмитрий Мережковский*, [в:] З. Гиппиус, *Живые лица*, т. 2, Тбилиси 1991, с. 242.

² А. Л. Соболев, *Мережковские в Париже (1906–1908)*, [в:] *Лица. Биографический альманах*, Москва 1992, т. 1, с. 363.

³ З. Гиппиус, *Дмитрий Мережковский*, с. 272.

⁴ Письмо Д. С. Мережковского А. С. Суворину от 27 декабря 1907 г., публ. Е. Андрущенко, Л. Фризмана, „Русская речь” 1993, № 5, с. 34.

Щукина". Судьба драмы складывалась нелегко. В 1908 году Мережковского привлекли к суду за „дерзностное неуважение” к власти; он прошел через судебное разбирательство и конфискацию тиража. С 1910 года Мережковский неоднократно подавал пьесу в цензурный комитет. В архивах сохранились свидетельства всей ее истории от запрещения в виду того, что „автор изображает быт императорской фамилии в красках, переходящих всякие пределы реальности”⁵ через „возбуждение судебного преследования” и до его отмены.

У всех еще в памяти то время, когда о жизни императора Павла и обстоятельствах, сопровождавших его смерть, нельзя было говорить с надлежащею полнотою и ясностью – писал в 1913 году Ходасевич – Правительство наше целое столетие ревниво оберегало память императора Александра Павловича в ущерб памяти его отца⁶.

Замысел книги Ходасевича о Павле I относится к весне 1913 года, а дошедший до нас фрагмент, как отмечает опубликовавший его А. Л. Зорин, был написан за неделю с 21 по 28 июля 1913 года⁷. Ходасевич „прервал работу над книгой. Он не успел пойти дальше раннего детства своего героя, но интонация..., план книги, сохранившийся в его бумагах, и введение к ней, позволяют с достаточной определенностью судить о концепции и характере работы”⁸.

Перед нами – произведения, относящиеся к различным жанрам: историческая драма и жизнеописание. Законченное произведение, имеющее самостоятельное значение, вместе с тем, являющееся первой частью трилогии *Царство Зверя*, и небольшой фрагмент книги Ходасевича, а также ее план. При всем различии подходов автора драмы и биографа, у них была общая сверхзадача: увидеть за условным образом императора личность и „реабилитировать” его. Об этом свидетельствуют и признания авторов. „Мне как это ни странно сказать – писал Мережковский Брюсову, личность Павла довольно нравилась”⁹. „Я о Павле читал порядочно и он меня привлекает очень. О нем психологически наврано. Хочется слегка оправдать его”¹⁰, находим в письме Ходасевича Б. Садовскому. Мережковский писал о Павле „с любовью”, жизнеописание Ходасевича дышит искренним сочувствием и проникновенностью.

⁵ ЦГИЯ, Ф. 779, Оп. 4, ед. хран. 316, рапорт № 8156.

⁶ В. Ходасевич, *Павел I*, [в:] В. Ходасевич, *Державин*, Москва 1988, с. 300.

⁷ А. Л. Зорин, *Начало*, [в:] В. Ходасевич, *Державин*, с. 10.

⁸ Там же.

⁹ Письмо Д. С. Мережковского В. Я. Брюсову от 4 июня 1908 г., publ. Е. Андрущенко, Л. Фризмана, с. 35.

¹⁰ Письмо В. Ходасевича Б. Садовскому, publ. А. Зорина, [в:] В. Ходасевич, *Державин*, с. 10.

Вся Россия знала о заговоре – читаем в предисловии к книге – но никто не захотел спасти Павла. Что же удивительного, если среди его современников и их ближайших потомков не нашлось людей, которые бы смело и решительно осудили это убийство?¹¹

В характере Павла, судя по письмам, опубликованным А. Зориным, Ходасевич отмечал черты „гамлетизма” и намеревался сравнить литературного героя и историческое лицо. Его замысел, очевидно, претерпел изменения, поскольку перед нами – традиционное жизнеописание, в котором „на основании того же материала, которым пользовались разные профессора”, Ходасевич приходит „к выводам совершенно противоположным их выводам”¹².

Его книга должна была состоять из пяти частей: 1) „Отношение русского общества к Павлу”, задачей которой ставилось выявление причин появления и „укоренения” в „сознании общества”, „слухов о „странностях” и „жестокостях” Павла; 2) „Павел умер 46 лет”, посвященной размышлениям о том, почему „возмутилась на него вся Россия до такой степени, что принуждена была с восторгом принять известие о его убиении”; 3) „Жизнь Павла” (в четырех частях), в которой исследовалась жизнь императора от рождения и до смерти; 4) „Судьба”, посвященной „сети противоречий” Павла, куда должны были быть вмещены размышления об английском участии в заговоре и подробно рассмотрены все обстоятельства самого убийства и, наконец; 5) „Заключение”, в которой предпринималась попытка восстановить историческую „справедливость” по отношению к Павлу I: Повторить о «суде истории» – пишет Ходасевич в *Заключении*. В *Предисловии* к книге это положение звучит так:

До тех пор, пока позорное клеймо тирана и изверга не будет снято с памяти императора Павла, все слова о нелюбимом суде истории будут звучать кощунственною насмешкою. Он осужден своими убийцами. Осуждая его, они оправдывали себя¹³.

Ходасевич несколько идеализирует своего „героя”. И причиной этому послужила, думается, не только полемическая заостренность книги, как считает А. Зорин. Над жизнеописанием работал художник, за исторической личностью для него стояла „тень” литературного героя – Гамлета: „Стал я читать, удивляясь, что никому не приходило в голову сравнить его с Гамлетом”¹⁴ – писал Ходасевич Садовскому.

¹¹ В. Ходасевич, *Павел I*, с. 300.

¹² Письмо В. Ходасевича Г. Чулкову, publ. А. Зорина, [в:] В. Ходасевич, *Державин*, с. 10.

¹³ В. Ходасевич, *Павел I*, с. 290.

¹⁴ Письмо В. Ходасевича Б. Садовскому, с. 10.

„Рыцарство и романтизм Павла (Гамлет)... не должен ли был притворяться, как Гамлет, если не сумас-[шедшим], то почти таким... Народные волнения. Самозванцы. Гамлетизм” – читаем в *Плане*. Художническое начало проявилось здесь и в том, как Ходасевичем „обыгрываются” детали „сцены” убийства: „Потайной ход к Гагариной. (Не был ли испорчен? Что значит не успел?)”, и в том, как автор жизнеописания, анализируя исторические факты, реконструирует жизнь своего героя при других обстоятельствах: „[...] Будь у П[авла] истинные, (умные) друзья и честные сотрудники и не пади он жертвой дворцовой революции – он был бы царем, благополучно царствовавшим до »Господней« смерти и любимым »русским« народом”¹⁵ и др.

У Мережковского и Ходасевича был общий круг исторических источников – активно публиковавшиеся в начале века материалы, относящиеся ко времени царствования Павла. Среди них были исследования Д. Ф. Кобеко *Цесаревич Павел Петрович* (Петербург 1887); *Записки* С. Порошина (Петербург 1881); работы Н. К. Шильдера *Император Павел Первый* (Петербург 1901); Е. С. Шумигорского *Император Павел I* (Петербург 1907); А. Г. Брикнера *Смерть Павла I* (Петербург 1907), а также П. Морана *Павел I до вошествия на престол* (Москва 1912). В поле зрения Мережковского, очевидно были и изданные в 1907 году *Записки участников и современников цареубийства 11 марта 1801 года*. Если у Ходасевича речь идет о „жизни” императора, то Мережковский писал пьесу, скорее, о его смерти. Между тем в четверо суток, в которые и происходит действие в драме – „действие в Петербурге от 9 до 12 марта 1801 года” – пишет автор в ремарках, – вместились вся его „жизнь”. В текст произведения включены мельчайшие подробности жизни Павла: и воспоминания о детстве, построенные на *Записках* Порошина, и отголоски противостояния с матерью-императрицей, материал для которых был почерпнут из исследований Шильдера и Кобеко, и обстоятельства, предшествовавшие убийству, перенесенные из книги Шумигорского и воспоминаний, собранных в *Цареубийстве 11 марта 1801 года*.

Разумеется, специфика жанра требовала от Мережковского чрезвычайной уплотненности, сжатости материала, подчинения его логике драматических событий. Вот как, например, используются *Записки* Порошина Мережковским и Ходасевичем:

¹⁵ В. Ходасевич, *Павел I*, с. 309–311.

Драма

[...] Дела сердечные... В томах Энциклопедии Французской – книжищах преогромных, больше меня самого – все изъяснение к слову *Amour* ищущу...¹⁶

Жизнеописание

Не появлял... Порошин, что нельзя потокать ранним сердечным волнениям Павла... Когда рылся Павел в энциклопедии, ища изъяснений на слово „*amour*“, – надо было Порошину отнять у него лексикон... Когда после встреч с „милой“ [...] на маскараде – „мечтал“ – Порошин не знал, что должно ему положить предел мечтаньям и встречам¹⁷.

Воспоминания очевидца, которые Ходасевич „разбирает“, у Мережковского превращаются в исповедь Павла и, произносимые от первого лица, становятся автохарактеристикой героя.

Ходасевич предпринимал попытку установить, кто же был настоящим отцом Павла I и, в этой связи, был ли император сумасшедшим, поскольку „самые прекрасные, самые благородные, самые героические поступки не имеют никакой цены, если они совершены сумасшедшим, если тем, кто совершил их, не руководили свободная воля и сознание окружающих“ и, в то же время, „никакие преступления не могут быть вменены в вину сумасшедшему. Он не может быть ни награжден, ни наказан... Он – ничто, нуль. История лишь считается с последствиями его безумных действий“¹⁸. Оспаривая точку зрения современников и последователей о сумасшествии Павла I, Ходасевич тем самым отказывается „оправдывать убитого государя“ его болезнью и предпринимает попытку объективно оценить его достижения как государственного деятеля, найти объяснения противоречивости его поступков, вскрыть причины трагедии.

В драме *Павел Первый* тема „сумасшествия“ играет важнейшую роль в создании психологической обусловленности поведения действующих лиц. Так, для Палена „слухи“ о болезни императора становятся аргументом в подготовке заговора – личные цели он умело прикрывает соображениями государственной необходимости: „Не для себя, и не для вас а для России, для Европы, для всего человечества. Ибо самодержец безумный – есть ли на свете страшилище оному равное?“; Александр соглашается на предложение отрешить Павла от трона лишь потому, что воспитан в убеждении: „Несть бо власть аще не от Бога [...] ну, а если государь сумасшедший...? Хищный зверь, что вырвался из клетки [...]“¹⁹, императрица Мария Федоровна в самые

¹⁶ Д. Мережковский, *Павел Первый*, [в:] Д. С. Мережковский, *Собр. соч.*, т. 3, Москва 1990, с. 68.

¹⁷ В. Ходасевич, *Павел I*, с. 306.

¹⁸ Там же, с. 301.

¹⁹ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 53.

жизненно важные для Павла минуты его жизни оказывается отдалена от него вследствие своего убеждения, что „он болен”. С точки зрения драматургической, тема „сумасшествия” является одним из главных сюжетобразующих элементов, скрепляющих, концентрирующих действие. Материалом для сцен подготовки переворота Мережковскому, несомненно, послужили и воспоминания самого Палена. От

характера Павла и его безумств – сообщил Пален графу Ланжерону – страдали... все мы... Состоя в высоких чинах и облеченный важными и щекотливыми должностями, я принадлежал к числу тех, кому более всего угрожала опасность, и мне настолько же желательно было избавиться от нее для себя, сколько избавить Россию, а может быть, и всю Европу от кровавой и неизбежной смуты... Мне казалось невозможным... достигнуть этого, не имея на то согласия... великого князя Александра... Я... часто старался дать ему почувствовать настоятельную необходимость переворота, возраставшую с каждым новым безумством... льстил ему на счет собственной будущности²⁰.

Истинные намерения Палена, приоткрывающиеся нам в его „записках” в пьесе понимает лишь великий князь Константин: „Прехитрая bestия!... не видишь, к чему клонит?... А к тому, что батюшка спятил”²¹.

В сохранившемся отрывке книги Ходасевича о Павле повествование доходит до середины первой части третьего раздела. *Жизнь Павла* заканчиваясь изложением истории воспитания Павла Паниным и взаимоотношениях последнего с Екатериной, дальнейшее мы имеем возможность лишь реконструировать, опираясь на [План] книги и источники.

Обратимся к завершению третьей части: *Император и Дворцовая и интимная жизнь*. Ходасевич пишет: „Первые правительственные шаги Павла... Законы антидворянские и чем они были вызваны. Ропот и противодействие. Провокация”. В изложении „первых правительственных шагов” Павла автор опирался, очевидно, на исследования Шумигорского и Шильдера, а также, несомненно, на „записки” Саблукова. Среди нововведений императора общественность особенно шокировали призыв на службу всех дворян, состоявших в списках и пожизненно находившихся в отпуске, а также регламентация одежды горожан. У Саблукова читаем:

Был издан ряд полицейских распоряжений, предписывавших всем обывателям носить пудру, косичку... и запрещавших ношение круглых шляп... Офицерам воспрещено... ни под каким предлогом... являться куда бы то ни было иначе, как в мундире²².

²⁰ Из записок графа Ланжерона, [в:] *Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников*, Репринтное воспроизведение издания 1907 г., Москва 1990, с. 134–136.

²¹ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 39.

²² *Записки Н. А. Саблукова*, [в:] *Цареубийство...*, с. 22.

Мережковский использует эти детали для мотивировки поступков убийц Павла. Когда на ужине, предшествовавшем походу на Михайловский замок, оказалось, что не конституции офицеры будут требовать у Павла, а отречения в пользу Александра, Бибиков восклицает: „Помилуйте, господа, из-за чего же мы стараемся? Из-за круглых шляп да фраков, что ли?“²³.

Провокация – разгадке этого раздела плана Ходасевича нам поможет текст пьесы Мережковского. Во второе действие введена сцена, в которой во дворец внезапно врываются войска, поднятые по тревоге, Павел расценивает появление солдат, как „бунт“, а Пален объясняет это „фальшивой тревогой“: „Как тогда, в Павловске, от рожка почтового, и здесь, в Петербурге“²⁴. Последуем за изложением материала в источнике, например, у Шильдера:

Для характеристики общего тревожного настроения достаточно упомянуть о неожиданных тревогах, происшедших в Павловке в августе месяце. Два раза во время вечерней прогулки государя среди войск неизвестно почему раздался сигнал в тревоге, и они бросились ко дворцу... Думали, что случилась „беда во дворце“. Через день снова повторилось то же самое явление²⁵.

По условиям жанра Мережковский не мог вместить в текст пьесы события, происходившие задолго до воссоздаваемых им в пьесе, и потому превратил их в „воспоминание“ Палена, известное всем окружающим; вместе с тем, автор считал, по-видимому, эту деталь важной как для характеристики „общего тревожного положения“, так и для демонстрации искренней привязанности солдат к Павлу.

Анна. Прости, Павлушка... Верные все... Разве не видишь, как испугались?...

Гренадер. Тк точно... доже испугались...

Головкин. Точно влюбленные.

Голицын. Как на икону крестятся²⁶.

Содержание четвертого раздела третьей части *Дворцовая и интимная жизнь* Ходасевич расшифровывает так: „Императрица и Нелидова. Кошмар. Путаница. Партии Нервы (?)“.

Останавливаясь на причинах нервозности и неуравновешенности цесаревича Павла, Шильдер указывает, что в начале 90-х годов ко всем сложностям прибавились еще и семейные неурядицы, связанные с появлением в его жизни Екатерины Ивановны Нелидовой, завоевавшей

²³ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 59.

²⁴ Там же, с. 35.

²⁵ *Император Павел Первый. По Шильдеру и воспоминаниям современников*, Москва 1907, с. 117.

²⁶ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 36.

„безграничную дружбу” Павла, Шильдер приводит письмо Марии Федоровны С. И. Плещееву: „Мне кажется – пишет она – что при каждом моих родах Нелидова, зная, как они бывают у меня трудны и что они могут быть для меня гибельны, всякий раз надеется, что она сделается затем второй м-м де-Ментенон”²⁷. Мережковский проходит мимо рассуждений историков о значении Нелидовой при дворе, об интригах, связанных с ней. Образ Нелидовой, вернее, „воспоминания” о ней действующих лиц, необходимы были драматургу для характеристики Гагариной, построенной на противопоставлении образу бывшей фаворитки Павла. Саблуков пишет:

Я выбежал из офицерской комнаты... Дверь коридора открылась настежь и император, в башмаках и шелковых чулках, при шляпе и шпаге, поспешно вошел в комнату и в ту же минуту дамский башмачок, с очень высоким каблуком, полетел через голову его величества, чуть-чуть ее не задевши... Из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой башмак и вернулась туда, откуда пришла²⁸.

У Мережковского разговоры о Нелидовой вкладываются в уста придворных, осуждающих нежную привязанность Павла к Гагариной:

Анна. Павлушка, миленький...

Павел. Ах, если бы ты знала, как я счастлив, Анна, и как желал бы сделать всех счастливыми!...

Нарышкин (тихо указывая на Павла и Анну). Голубки воркуют!

Головкин. А у княгини-то платье – из алого бархату, точно из царского пурпура.

Голицын. Субретка в пурпуре!

Нарышкин. Будь поумнее, под башмаком бы его держала.

Головкин. И башмаком бы в него кидала, как, помните, Катя Нелидова²⁹.

Вместе с тем, следуя логике изложения материала в источниках, которыми пользовался Ходасевич, тезисы „Императрица и Нелидова. Кошмар. Путаница. Партии. Нервы” могут иметь и другое значение. Весной 1798 года император путешествовал по России и заезжал в Москву. Его поездка, как указывает Шильдер, была использована Ростопчиным, Кутайсовым и другими, чтобы ослабить влияние Марии Федоровны и Нелидовой, к этому времени уже подружившихся, и „захватить Павла в свои руки”. Одновременно с этим развивалась и так называемая „попухинская интрига” вследствие которой „должности генерал-прокурора и петербургского военного губернатора” были „розданы” соответственно Лопухину и Палену.

²⁷ Император Павел Первый. По Шильдеру..., с. 177.

²⁸ Записки Н. А. Саблукова, с. 51–52.

²⁹ Д. Мережковский, Павел Первый, с. 26.

Опубликовавший „План” книги Ходасевича, А. Л. Зорин, предлагает следующий комментарий к тезису „Кошмар”: „Слово »кошмар« – пишет комментатор – возможно, отсылает к более раннему видению Павла, которому явилась гигантская фигура Петра I, обратившегося к нему словами: »Бедный Павел, бедный князь«³⁰. Не разделяя этой точки зрения комментатора, попробуем предложить свою версию.

Обратим внимание на контекст: „Императрица и Нелидова... Путаница, Партии”. Если следовать за источниками, видно, что жизнь Павла в этот период состояла из выяснения отношений с его, по словам Кутайсова, „дамами” (ему дали понять, что императрица и Нелидова им „управляют”); завоевания расположения Лопухиной, проявившей завидное упорство; попыток ее тайного приглашения в Петербург (негативная реакция Марии Федоровны). Павел стоял в центре „закулисных интриг”, что „отразилось самым плачевным образом на состоянии” его „духа”; „подобная обстановка создавала неисчислимые душевные муки”. Говоря современным языком, жизнь Павла превратилась в сплошной кошмар. Мог ли Ходасевич назвать подобные обстоятельства „современным языком”?

В начале века слово „кошмар” имело два значения, одно из которых восходило к французскому и означало „тяжелый сон с гнетущими видениями” и второе – „что-либо ужасное, отвратительное, тягостное” (например, у Гаршина: „Я не знаю сама почему а не хочу... освободиться от этого кошмара” („Происшествие”) – очевидно, и использованное Ходасевичем для обозначения „тягостных” обстоятельств жизни Павла I.

Мережковский ввел в драму *Павел I* три эпизода, каждый из которых имеет самостоятельное значение и, вместе с тем, используется драматургом как интересный прием – так называемая „подготовка” действия. В истории русской исторической драмы есть немало примеров использования „сна” или „видения” действующих лиц для „опережения” действия, его „подготовки” (Вспомним, например, пророческие „сны” Гришки Отрепьева в *Борисе Годунове* Пушкина или царя Федора Иоанновича в драме А. К. Толстого). В исторических драмах „сны” или „видения” действующих лиц, как правило, были лишь плодом воображения и одним из художественных приемов авторов. Мережковский же использует действительно имевшие место и нашедшие отражение в исторических источниках необычные проявления психики Павла:

³⁰ В. Ходасевич, *Павел I, Комментарий*, с. 380.

Драма

Роджерсон. Кажется, во время обычной прогулки верхом по Летнему саду его величеству дурно сделалось. Обер-штальмейстер Кутайсов бросился на помощь, но все уже прошло, только молвить изволили: „Я почувствовал, что задыхаюсь“, – и вернулись домой... Маленький припадок удушья. Должно быть, действие оттепели”³¹.

Источники

Записки Саблукова: Во время одной из... прогулок, около четырех или пяти дней до смерти императора (в это время стояла оттепель), Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись, к обер-штальмейстеру Муханову... сказал сильно взволнованным голосом: „Мне показалось, что я задыхаюсь и мне не хватает воздуха... Разве они хотят задушить меня?“ Муханов ответил: „Это, вероятно, действие оттепели”³².

Рассказом Павла о своем сне Мережковский начинает необычайно важную сцену, в которой Павел „испытывает” Палена на верность, угадывая не только намерения Палена, но и способ, которым его убьют. Предвидение Павла вводит Палена в замешательство, заставляет его изворачиваться и лгать, затем говорить „правду” и на глазах у зрителя, вести „двойную игру”, что придает подлинную напряженность сцене. В этом же диалоге Павла и Палена последний получает у императора „чрезвычайные” полномочия на арест членов царской семьи, а также напоминает Павлу о необходимости „из покоев государыни в спальню вашего величества дверь забить наглухо”³³. „Двери в комнату Марии Федоровны” упоминает и Ходасевич. Материалом для обоих писателей могли быть воспоминания участника убийства Бенигсена, опубликованные в *Цареубийстве*, а также пересказываемые Шильдером и Шумигорским: „Павел... не мог... бежать через комнаты императрицы, так как Палену удалось внушить ему сомнение на счет чувств государыни, и он каждый вечер баррикадировал дверь, ведущую в ее покои”³⁴ – читаем у Бенигсена.

В четвертом разделе книги о Павле Ходасевич планировал остановиться на обстоятельствах, непосредственно предшествовавших убийству императора. В частности, он пишет: „Двойная игра Палена. Александр. Дверь в комнату М[арии] Ф[едоровны]”. Пален, которого, например, Фонвизин, называл „душою заговора и главным действующим” его, „исподволь приготавливал Александру” к „замышляемому им государственному перевороту” и, вместе с тем, намекал Павлу на участие в заговоре „особ” из царствующего дома. Таким образом, ему удалось настроить Павла против сына и заставить Александра опасаться отца. В исследовании Шильдера приводятся

³¹ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 37.

³² *Записки Н. А. Саблукова*, с. 72.

³³ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 46.

³⁴ *Из записок графа Бенигсена*, [в:] *Цареубийство...*, с. 143.

слова Саблукова (которых, кстати, нет в полностью опубликованных его „воспоминаниях“) об аресте Александра и Константина и вторичном приведении их к присяге накануне убийства Павла³⁵.

„Двойная игра“ Палена у Мережковского становится своего рода драматургическим приемом. Перед зрителем проходит ряд сцен, где Пален „сталкивает“ действующих лиц, иногда против их воли делая своими сообщниками. Например, Александр – Палену:

Поверил, что бы... Пален. Что я во главе заговора, чтобы предать вас... Александр. И предали? Пален. Предал, чтобы спасти... Александр. Да, вот как. Меня – ему, а его – мне. Но в конце-то, в конце, граф кого же вы предадите – меня, его или обоих?³⁶.

Современников и последующие поколения исследователей неизменно интересовал вопрос об участии Александра в убийстве отца. По признаниям Палена, ему удалось получить у Александра согласие лишь на отречение Павла, но не на его убийство:

Я обязан, в интересах правды, – писал Пален, – сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово: я не был настолько лишен смысла, чтобы внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя³⁷.

Таким образом, Ходасевич, следуя источникам, по-видимому, не должен был считать Александра виновным в смерти Павла. Тем не менее, по некоторым замечаниям автора чувствуется, что Александр не был ему симпатичен: „Правительство... ревниво оберегало память императора Александра Павловича в ущерб памяти его отца“ – пишет он в Предисловии. „Все при мне будет, как при бабушке“ – приводит Ходасевич слова Александра при выходе к войскам после убийства Павла. И далее: „Восторги по этому поводу. Кто восторгался и кто, м[ожет] б[ыть], плакал“³⁸.

Ходасевич намеревался завершить книгу размышлениями о том, насколько справедлив „суд истории“ по отношению к Павлу, напоминает, что его смерть „была расплатой за его притеснения... тех, кто раскинулся слишком широко, тех сильных и многоправных, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых... И это была истори[ческая] ошибка его. Но какая в ней моральная высота!“³⁹. Ходасевич отмечает, что

³⁵ Император Павел Первый. По Шильдеру..., с. 156.

³⁶ Д. Мережковский, Павел Первый, с. 50.

³⁷ Из записок графа Ланжерона, [в:] Царевубийство..., с. 155.

³⁸ В. Ходасевич, Павел I, с. 290, 311.

³⁹ Там же, с. 311.

историческая наука... в борьбе личности с обществом (особенно когда этой личностью являлся самодержавный монарх) [...] считала для себя обязательным неизменно брать сторону общества. Всякая оппозиция могла безошибочно рассчитывать на сочувствие науки.. но кроме исторической правоты существует большая правота – моральная.

Сын восстал на отца, и отец казнил сына. Помните > ... А все-таки перечесть не мешает. Ужо пришло⁴⁰.

утвердить подозрения Павла... Он разыскал историю Петра Великого и раскрыл ее на странице, описывавшей смерть царевича Алексея. Развернутую книгу Павел приказал графу Кутайсову отнести к великому князю и предложить прочесть эту страницу⁴¹.

Мережковский вводит в драму и „видение” Павла, упоминаемое Зориним, подробности которого приводятся в исследовании Шильдера. Необычайно распространенный рассказ Павла, изобилующий деталями, описаниями слуховых и зрительных ощущений, содержащий моральные сентенции повествователя и мистические переживания, Мережковским сжат до 17 реплик. О сличившимся „лет двадцать назад” Павел вспоминает за несколько часов до смерти, когда рассказывает Анне о своем детстве, о „мальчике милом” Александре. Столкновение образа маленького „первенца” с образом „сына родного – отцеубийцы” вызывает у Павла приступ гнева, в котором он произносит монолог о „тяжести России, тяжести Европы, тяжести мира”, лежащей „на одной голове”. Тематически этот монолог совпадает с раздумьями Петра I накануне убийства сына в романе Мережковского. В пьесе Павел стоит перед таким же выбором, как некогда его прадед, и потому следующий монолог посвящен „воспоминанию” о явлении Петра:

Шли мы раз ночью зимою с Куракиным по набережной. Луна, светло почти как днем, только на снегу тени черные. Ни души, точно все вымерло. На Сенатскую площадь вышли, где нынче памятник. Куракин отстал. Вдруг слышу, рядом кто-то идет – гляжу – высокий, высокий, в черном плаще, шляпа низко – лица не видать. „Кто это?” – говорю. А он остановился, снял шляпу – и узнал я – государь император Петр I. Посмотрел на меня долго, скорбно да ласково так, головой покачал и два только слова молвил... „Бедный Павел! Бедный Павел!”⁴².

„Жестокость” Павла по отношению к близким, которую он принимал за „твердость”, Коцебу сравнивает с „примером” его „прадеда”, Петра Великого, и сам удивляется, что черты Павла напоминали ему Петра: „Кто бы ожидал, что найдется писатель, который станет проводить параллель между Павлом и Петром Великим?”⁴³.

⁴⁰ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 19.

⁴¹ *Из записок княгини Ливен*, [в:] *Цареубийство...*, с. 181.

⁴² Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 70.

⁴³ *Записки Августа Коцебу*, [в:] *Цареубийство...*, с. 280.

Для Мережковского эта „параллель” явилась неотъемлемой частью его философии русской истории, нашедшей отражение в романистике и публицистике начала XX века.

В одном из писем Брюсову писатель признавался, что „кроме любви”, с которой он писал о Павле, и большой симпатии к нему, он был одержим „сверхидеей”, хотя и не вполне удачно, на его взгляд, воплощенной: „Я хотел показать бесконечный религиозный соблазн самодержавия (этого русские революционеры, кроме самых редких, совсем не чувствуют)”⁴⁴. По словам Гиппиус, изучение Мережковским „послеекатерининской эпохи, Павла I [...] усиливало его внимание к современным событиям”, на которые он „смотрел... под одним углом – религиозным”. Весь смысл истории христианского человечества он видел в „непримиримой борьбе” между церковью и государством. Церковь, как „реальный путь к всечеловечеству – считал писатель – на Западе и на Востоке »претерпела« от государства „одно и то же, хотя и в двух совершенно противоположных направлениях”: „На Западе церковь претворялась в государство, папа, христианский первосвященник, делался римским кесарем; на Востоке государство претворяло в себя, поглощало церковь, римский кесарь делался христианским первосвященником”, „крайним судиею дел церковных”, по выражению Петра Великого в Духовном Регламенте Св. Синода... Здесь и там произошло одинаковое смешение кесарева и Божьего”⁴⁵. На Востоке, говорит Мережковский, религиозная идея римской империи достигла своего завершения в „русском православном самодержавии”. „Самодержавие вместе с православием” Россия унаследовала от Византии, а та, в свою очередь, „от первого Рима, языческого” в котором идея самодержавия „в глубине своей” была идеей „не только политической, но и религиозной”. Беспредельная власть кесаря, одного человека над всеми, казалась божеской, а этот человек – „земным богом, равным Богу небесному. Произошел апофеоз римского кесаря: *Divus Caesar*, Кесарь Божественный, Кесарь-Бог, Человек-Бог. В условиях языческого самодержавия первые христианские мученики умирали, не желая „поклониться Зверю в лице Кесаря”, но когда „самодержавие приняло православие... тогда церковь приняла самодержавие, поклонилась римскому Кесарю, благословила Зверя именем Христа”⁴⁶. „Христианство – говорит Мережковский – от Христа, кесарианство – от Кесаря... Когда впервые кесарю воздали Божье, христианство подменилось

⁴⁴ Письмо Д. Мережковского В. Брюсову от 4 июня 1908 г., с. 35.

⁴⁵ Д. С. Мережковский, *Пророк русской революции. К юбилею Ф. М. Достоевского*, [в:] Д. С. Мережковский, *В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет*, Москва 1991, с. 330.

⁴⁶ Там же, с. 329.

кесарианством⁴⁷. Православная церковь, называя наследников римского кесаря, „Зверя“, „Помазанниками Божиими“, то есть „Христами“, „сама не знает, что творит... Нигде в мире царство Зверя не было таким свирепым, безбожным и кощунственным, как... в русском самодержавии⁴⁸. Православный народ верит в православного царя, видит в нем последнюю надежду „соединения крестьянства с христианством; царь... даст народу землю и установит правду Божию на земле“. Но если, действительно, „земное с небесным, человеческое с божеским“ призван соединить царь, значит „это соединение еще не совершилось во Христе Пришедшем, в Богочеловеке“, и русскому самодержцу „предназначено исполнить то, чего будто бы не исполнил Христос“. Это и есть „страшный соблазн“ в идее самодержавия, пишет Мерзковский, русский царь – „грядущий Кесарь Третьего Рима... русский Христос“, „русский Бог“⁴⁹.

„Не человек, а Бог“ – говорит в драме Нарышкин о Павле. „Как в древнем Риме: »Ave Caesar, morituri te salutant« – указывая на знамена и носилки произносит Пален.

Кесарь и первосвященник... царь и папа вместе – провозглашает сам император – я, я один во всей вселенной!... Жена – церковь православная, а младенец – царь самодержавный... Жена... родила Младенца... коему надлежит пасти все народы железом... Се тайна великая – говорит Павел – никто ее не знает... кроме меня!⁵⁰

В романе *Александр I* над этой „тайной“ размышляет князь Голицын, записывая „изречение“, находившееся в „Акте о престолонаследии“ Павла I: „Государи российские суть главою церкви“: „Поставление Царя Земного главою церкви на место Христа, Царя Небесного, не только есть кощунство крайнее, но и совершенное от Христа отпадение“⁵¹, подытоживает он свой разговор с Чаадаевым. В записную книжку Голицын вносит и выдержки из „записки“ Магницкого о „двух религиях – первого и второго величества“: „одно величество – Христос, Царь Небесный; другое – Христос, царь земной, самодержец российский“⁵².

Эпоха правления Павла I в творческом мире писателя зеркально отражает петровское время. Особенно в той части, где художник обращается к личной трагедии самодержцев. Павел, „мысленный

⁴⁷ Д. С. Мережковский, *Христианство и кесарианство*, [в:] Д. С. Мережковский, *В тихом омуте...*, с. 127.

⁴⁸ Д. С. Мережковский, *Пророк русской революции...*, с. 330.

⁴⁹ Там же, с. 332.

⁵⁰ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 16, 32–33.

⁵¹ Д. С. Мережковский, *Александр I*, с. 285.

⁵² Там же, с. 308.

сыноубийца” и Александр, позволивший убить отца, повторяют трагическую судьбу Петра-убийцы сына и Алексея, „мысленного отцеубийцы”.

Столкновение отцов и детей тем трагичнее, чем больше они понимают, что любят груг груга. „Спасибо, Алеша!” – сказал Петр, и от этого... „Алеша” сердце Алексея „дрогнуло”⁵³. „Ты имеешь много благородства... Сашенька – ты меня поймешь” – говорит Павел, „беря Александра под руку”⁵⁴. Алексей „чувствовал, как рвалось из груди... одно слово, один знак отца – и сын упал бы к ногам его, зарыдал бы такими слезами, что... растаяла страшная стена между ними”⁵⁵. „Только на прощание – вспоминает Александр вечер перед убийством – Павел подошел... Один миг казалось обоим, что они друг другу скажут все и все простят”⁵⁶. Но „они молча смотрели друг другу в глаза одинаковым взором – пишет Мережковский о Петре и Алексее – и в этих лицах... было сходство. Они отражали и углубляли друг друга, как зеркала, до бесконечности”⁵⁷. „Мы тут вдвоем – говорит Павел – Ровесники... И похожи-то как! Как две капли воды”⁵⁸.

„Царевич Алексей Петрович – необходимый трагический двойник Петра” – пишет Мережковский. Александр – „близнец”, „двойник” Павла. И кровь сына на руках Петра, и кровь отца на совести Александра, „соединили прошлое с будущим”. Алексей мечтал „собрать вселенский собор для воссоединения церквей... да притекут народы с четырех концов земли под сень Софии Премудрости Божией, в царство священное во сретение Христу Градущему!”⁵⁹. Александр вторит ему: „Евангелие вместо законов; власть Божия – вместо власти человеческой”⁶⁰.

Глубинная сущность трагедии самодержцев Мережковского состоит в том, что они не „раскрыли” религиозный смысл русской государственности”, „нового” учения о власти в смысле христианском, то есть о переходе от власти к свободе, от меча железного к мечу духовному”⁶¹. Все учение о власти в русской истории сводилось к „грубо понятным” словам апостола Павла: „Несть бо власть аще не от Бога”. Эти в „кошунственном смысле” понятые слова Мережковский вкладывает в уста Феофана, который в слове *О власти и церкви царской* доказывал:

⁵³ Д. С. Мережковский, *Антихрист. Петр и Алексей*, [в:] Д. С. Мережковский, *Собр. соч.*, т. 2, Москва 1990, с. 332.

⁵⁴ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 13.

⁵⁵ Д. С. Мережковский, *Антихрист, Петр и Алексей*, с. 497.

⁵⁶ Д. С. Мережковский, *Александр I*, с. 142.

⁵⁷ Д. С. Мережковский, *Антихрист. Петр и Алексей*, с. 622.

⁵⁸ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 68.

⁵⁹ Д. С. Мережковский, *Антихрист. Петр и Алексей*, с. 557.

⁶⁰ Д. С. Мережковский, *Александр I*, с. 137, 252.

⁶¹ Д. С. Мережковский, *Теперь или никогда*, [в:] *Больная Россия*, с. 59.

„Государь глава церкви. Вопиет учитель народов апостол Павел: **несть бо власть аще не от Бога [...]**”. Эти же слова говорит царевичу Алексею Федоска: „Какая же, государь, политика без церкви?... **несть бо власть аще не от Бога [...]**”⁶². И лишь Александр, в сознании которого, по Мережковскому, были „проблески” нового представления о власти, пытается их переосмыслить: „**Несть бо власть аще не от Бога?... И царство Зверя – Царство Божие?**” И когда перед ним открывается „страшная пропасть” самодержавной власти, он снова обращается к этим словам, понимая, что „тут что-то неладно... А ну, как не от Бога власть самодержавная? Ну, как тут место проклятое – станешь на него и провалишься? Провалилось все до меня – и я провалюсь”⁶³.

О своеобразии российской государственности говорил еще Чаадаев. Посвящая ему статью в сборнике *От войны до революции*, Мережковский напоминает, что Чаадаев был одним из первых, кто показал, что одна Россия „не участвует в общем движении”. Русская церковь, в отличие от римской, „поработилась государству и рабство церкви сделалось источником всех наших рабств”⁶⁴. Слова апостола Павла, говорил Чаадаев, „ни один народ мира не понял лучше нас”:

„**несть власти аще не от Бога**”. Установленная власть всегда для нас священна... Русский народ ничего и не способен усматривать во власти, кроме родительского авторитета... Всякий государь, каков бы он ни был, для него – батюшка... Если бы природе народа свойственно было воспринимать... идеи... он бы понял, что государь, за которого он проливает кровь, не имеет ни малейшего права на престол”⁶⁵.

Мережковский подхватывает эту мысль и в статье *Пророк русской революции* говорит, что иногда в русской истории „трудно отличить самодержца от самозванца”. „Каждый пришедший царь оказывается вовсе не тем грядущим царем, которого ожидает народ, как Мессию. В этом смысле каждый самодержец – самозванец воли народной”. И даже если бы в России избрание царя „совершилось по воле народной”, то как определить, совпадает ли она с волей Божьей? Ведь церковь лишена „соборного голоса”, „обезглавлена царем”, который сам становится „главою церкви”, „крайним судиею” дел церковных. Помазание на царство совершается в церкви, но не церковью, а самим царем: это значит, что не только исторически, но и мистически каждый самодержец – самозванец”⁶⁶. Эта идея стала одной из основных в исторической концепции Мережковского.

⁶² Д. С. Мережковский, *Антихрист. Петр и Алексей*, с. 480.

⁶³ Д. Мережковский, *Павел Первый*, с. 53, 84.

⁶⁴ Д. С. Мережковский, *Чаадаев*, [в:] Д. С. Мережковский, *Акрополь. Избранные литературно-критические статьи*, Москва 1991, с. 300.

⁶⁵ П. Я. Чаадаев, *Отрывки и разные мысли*, [в:] П. Я. Чаадаев, *Полн. собр. соч. и избранные письма*, Наука, т. 1, Москва 1991, с. 194.

⁶⁶ Д. С. Мережковский, *Пророк русской революции*, с. 335.

Самое „страшное“, по мнению писателя, что отступление церкви от Христа „в общественно-политической жизни“ происходило „вне ее сознания“. Она „не видела и доселе не видит... куда ее ведет Другой, бессознательно поддерживала политику Князя мира сего“, „Грядущего Хама“, который хочет скрыть лицо свое под личиною Грядущего Господа”⁶⁷. „Вот почему у нас нет истории в подлинном смысле этого слова” – пишет Мережковский. „Рабство церкви” стало причиной социального рабства. В этом и трагедия, и „два огромных преимущества”: „неопытность, нетронутость... души („открытый лист белой бумаги, на котором ничего не написано”, по выражению Мицкевича)”⁶⁸ и возможность использовать опыт Западной Европы.

Таким образом, трагедия Павла I как самодержца, по Мережковскому, закономерна, и не ее он выдвигает на первый план. Несмотря на положительные стороны его государственной деятельности, он „самозванец”, стоящий на „проклятом месте”, и потому „провалился”. В центре внимания драматурга – образ Павла-человека, мятущегося, изломанного, противоречивого. Перед зрителем проходят последние четыре дня его жизни, в которых сконцентрировано и „прошлое”, – чистая душа, романтические и рыцарские порывы, их столкновение с действительностью, порочное влияние окружающих и матери-императрицы, – и „будущее” – восхождение на трон нового „самозванца воли народной”, совесть которого уже омрачена убийством отца. „Будь у Павла истинные, (умные) друзья и честные сотрудники и не пади он жертвой дворцовой революции – он был бы царем, благополучно царствовавшим до »Господней« смерти и любимым »русским« народом” – писал Ходасевич. Концепция самодержавной власти Мережковского – вся возражение этому положению Ходасевича: даже если бы избрание царя совершилось „по воле народной”, то „как узнать, совпадает ли она с волей Божьей?” – писал Мережковский. Трагедия Павла как личности в том и состоит, что он изломан и погублен самой волей истории, карающей того, кто занимает „проклятое”, роковое „место”, принадлежащее по праву лишь „единому Царю царей и Первосвященнику – самому Господу”.

Обращаясь к павловской теме, Ходасевич настаивал на существовании „кроме исторической правоты большей правоты – моральной”. Такая позиция „выдавала” в нем художника и психолога, а не „историка”, и в полной мере она реализовалась в его книге о Державине. Изучение материалов этой эпохи и решимость реабилитировать Павла I обусловила особый взгляд Ходасевича на личность Никиты Панина и оценку некоторых исторических событий. Ходасевич не размышлял над природой

⁶⁷ Д. С. Мережковский, *Теперь или никогда*, с. 68.

⁶⁸ Д. С. Мережковский, *Чаадаев*, с. 300–301.

самодержавной власти, не искал закономерностей исторического процесса. Его волновала высшая человеческая справедливость даже по отношению к „царствующей особе”. Он пристально вглядывался в окружение Павла, воссоздавал обстоятельства его детства и юности, размышлял над особенностями характера и воспитания цесаревича, искал причины его нервозности и неуравновешенности, объяснений его странностям. Ходасевич разделил ответственность за непоследовательные и противоречивые поступки императора с теми, кто его растил и воспитывал, кто готовил его к жизни и к исполнению будущих его обязанностей.

Мережковский, как и Ходасевич, стремился реабилитировать Павла – человека, но понятие „моральная правота” у него имеет особое толкование.

Императора Павла Первого он рассматривал в контексте русского исторического процесса. Его царствованием завершился один из важнейших, по мнению писателя, этапов закрепощения православной церкви, и, вместе с тем, начался новый – попытка Александра дать церкви если не полную свободу, то частичное освобождение. В то же время, с павловским временем Мережковский связывает зарождение религиозных освободительных настроений. Эта тема становится одной из центральных в романе *Александр Первый* и ведущей – в романе *14 декабря*. Писателя интересовало то, что происходило в России „до” Павла, а особенно, что „после” – как царствование этого императора соотносится с историей других царствований, с историей самодержавия вообще. Мережковский смотрел на Павла как художник и историк, и это обусловило своеобразие его представлений о „моральной правоте”. „Совесь” потомков „смущает” убийство царевича Алексея, но „что, если Петр должен был так поступить?”. Он убил сына „не для себя”, а чтобы „спасти Россию”, и „погубил себя”. Александр согласился на отречение Павла, а стал соучастником его убийства, тоже „не для себя”. „Положительная сторона дела Петрова”, по Мережковскому, состояла в том, что Россия была введена в Европу, чем сделан первый шаг к вступлению ее, как равной, во Вселенскую Церковь. Александр Первый, в представлениях писателя, именно уничтожение самодержавной власти и установление „Еван елия вместо законов” считал своим предназначением. И „моральная правота” – „у каждого своя, навеки противоположные, навеки непримиримые. И одна должна... уничтожить другую. Но кто бы ни победил, виноват будет победитель, побежденный прав”.

В исторической концепции Мережковского „разрешение” этого „трагического противоречия” лежит за рамками человеческой справедливости, в области „высшего суда”, где, перефразируя выражение Ходасевича, „кроме моральной правоты существует большая правота – историческая”, даже „мистическая”.

Jelena Andruszchenko

PAWEŁ I W OCZACH D. MEREŻKOWSKIEGO I W. CHODASIEWICZA

Postać tego cara przez długie dziesięciolecia mało interesowała historyków. Dopiero w stulecie śmierci imperatora cenzura zezwoliła na druk materiałów pamiętnikarskich wyjaśniających okoliczności jego zabójstwa. Materiały te wykorzystali dwaj pisarze – Mereżkowski w dramacie *Paweł Pierwszy* oraz Chodasiewicz w nieukończonym powieści-żywocie (tytuł umowny – *Paweł I*). Obydwaj autorzy starają się dać obiektywną ocenę roli cesarza jako człowieka i panującego, a nawet dążą do zrehabilitowania tego władcy, uznawanego dość powszechnie i tendencyjnie za „szaleńca na tronie”.